



Иван Алексеевич Бунин

Лирник Родион

Содержание

#1	0005
Комментарии	0019

Иван Алексеевич Бунин
ЛИРНИК РОДИОН

Сказывал и пел этот «Стих о сироте» молодой лирник Родион, рябой слепец, без поводыря странствовавший куда бог на душу положит: от Гадяча на Сулу, от Лубен на Умань, от Хортицы к гирлам, к лиманам. Сказывал и пел на пароходике «Олег» в Херсонских плавнях, в низовьях Днепра, в теплый и темный весенний вечер.

Из конца в конец Днепровья странствовал и я в ту весну. В Полтавщине она была прохладная, с звонкими ветрами «суховиями», с изумрудом озимей, с голыми метлами хуторских тополей, далеко видных среди равнин, где, как в море, были малы и терялись люди, пахавшие на волах под яровое. А на юге тополя уже оделись, зеленели и церковно благоухали. Розовым цветом цвели сады, празднично белели большие старинные села, и еще праздновали, наряжались молодые казачки: еще недавно смолк пасхальный звон, под ветряками и плетнями еще валялась скорлупа крашеных яиц. В гирлах же было совсем лето, много стрекоз вилоь над очеретом, много скиглило рыбалок, отражавшихся в серебристых разливах реки.

На юг, в Никополь и дальше, плыл я на этом «Олеге», очень грязном и ветхом; весь дрожа, все время дымя и поспешно шумя колесами, медленно тянулся он среди необозримых камышовых зарослей и полноводных затонов. В первом классе «Олега» никого не было, кроме какой-то девицы, знакомой капитана, державшейся особняком. Во втором было несколько евреев, с утра до ночи игравших в карты, да какой-то давно не бритый, нищий актер. А на нижней палубе набилось душ полтора хохлушек, плывших куда-то на весенние заработки. Днем у них было шумно, тесно, жарко; днем они ели, пили, ссорились, спали. Вечерами долго сумерничали, разговоры вели мирные, задумчивые, вполголоса пели.

Этот вечер был особенно прекрасен, особенно располагал к тому.

По палубе бродила, останавливалась и притворялась залюбовавшейся облаками на закате знакомая капитана. Она накинула на голову зеленый газ, тонкий, как паутина, обвила его концы вокруг шеи, и сумеречный ветерок чуть играл ими. Она была в прозрачной

кофточке, высока и так хрупка станом, что, казалось, вот-вот он переломится. Одной рукой она придерживала газ, другой — юбку, обтягивая ею ноги. А за нею все время следил актер.

Актер боком прислонился к спинке скамьи, закинул ногу на ногу, как бы показывая, что он ничуть не стесняется своими ужасными ботинками. Он поднял воротник клетчатого пальто с широким хлястиком на поясице, надвинул на лоб широкополую шляпу и, шевеля тросточкой, поводил глазами.

Девушка гуляла, останавливалась, будто и не замечала его. Но взгляды из-под широкополой шляпы делались все пристальнее. Внезапно вздрогнув, как бы от вечерней свежести, она вскинула брови, подхватила юбку и, будто беззаботно, побежала по трапу вниз. И, прикрыв глаза, актер притворился дремлющим. За мягкой чернотой правобережья, его ветряков и косогоров, слившихся с затонами, с густыми камышами, медленно блекли в чем-то сумрачно-алом слабые очертания мутно-синих облаков. В вышине проступали мелкие, бледные звезды. «Олег», дымя, дрожал и

однообразно шумел колесами... И вот, вполслуха, стройным хором, запели хохлушки, выспавшиеся за день.

Я в те годы был влюблен в Малороссию, в ее села и степи, жадно искал сближения с ее народом, жадно слушал песни, душу его. Пел он чаще всего меланхолически, как и подобает сыну степей; пел на церковный лад, как и должен петь тот, чье рожденье, труд, любовь, семья, старость и смерть как бы служение; пел то гордо и строго, то с глубокой нежностью. С ярмарки на ярмарку, в передвижениях гуртами на работы часто сопровождали его бандуристы и лирники, наводившие мужчин на воспоминания о былой вольности, о казацких походах, а женщин — на певучие думы о разлуках с сыновьями, с мужьями, с любимыми. Бог благословил меня счастьем видеть и слышать многих из этих странников, вся жизнь которых была мечтой и песней, душе которых были еще близки и дни Богдана, и дни Сечи, и даже те дни, за которыми уже проступает сказочная, древнеславянская синь Карпатских высот. Родион, случайно пристравший к женщинам и плывший вместе с ни-

ми, был молод и безвестен. Он говорил, что даже не считает себя певцом, лирником. Но певец он был поистине удивительный. Если он еще жив, бог, верно, дал ему старость счастливую и отрадную за ту радость, что давал он людям.

Слепые — народ сложный, тяжелый. Родион не похож был на слепца. Простой, открытый, легкий, он совмещал в себе все: строгость и нежность, горячую веру и отсутствие показной набожности, серьезность и беззаботность. Он пел и «псалмы», и «думы», и любовное, и «про Хому», и про Почаевскую божью мать, — и легкость, с которой он менялся, была очаровательна: он принадлежал к тем редким людям, все существо коих — вкус, чуткость, мера. Голова у него была небольшая, темные волосы, ровно подрубленные в кружок, закрывали челкой лоб. Сухое, рябое лицо с закрытыми и глубоко запавшими маленькими веками без ресниц обычно ничего не выражало. Но лишь только он открывал рот, чтобы петь и играть, оно преображалось: одними движениями бровей и улыбками, озарявшими его лицо на множе-

ство ладов, он выражал тончайшие и разнообразнейшие чувства и мысли. Ростом он был невелик, плечи имел узкие, покатые и худощавые, пальцы тонкие и цепкие. Носил короткую сермяжную свитку[1], огромные сапоги. И чудесно, по-славянски краснела ленточка, которой завязывал он ворот своей сорочки из сурового холста.

В этот сумеречный и теплый вечер женщины начали со старинной казацкой песни о сыне и матери, ласково и безнадежно уговаривавшей его не губить своей молодости ради одной пьяной удали. Кончив ее протяжные, спокойные и грустные укоры — «ой ты, сыну, мій сын, ты, дытьна моя!», долго не запевали другой; запели было в три голоса какую-то визгливую, мещанскую, и тотчас бросили. Родион вполголоса занял первую строку песни еще более старинной, чем о матери и сыне, — «край Дунаю трава шумить», — и вдруг окликнул кого-то какой-то прибауткой, и вокруг него радостно прыснули, покатались со смеху.

И долго только шутки, тихий говор слышались в дремоте теплой вечерней тьмы среди

ровного, уже ночного шума колес. Кое-где по смутно чернеющим берегам шли поздние огоньки. Впереди, на чуть видимом затоне, между двух черных стен камыша, ночной рыбак лучил рыбу: спокойное отражение его огня в воде было похоже на зажженную длинную восковую свечу. Кто-то заговорил о Киеве. Может быть, глядя именно на это отражение, заговорили о Софиевском соборе, о Михайловском, многие впервые побывали на этом пути в Киеве, — и стали с умилением дивиться их красоте и ужасаться картинам страшного суда, которыми славятся многие киевские церкви. Тогда, как бы продолжая их мерную речь, медленно и певуче заныла, заскрежетала и зажужжала старая лира Родиона.

Он как бы тоже перебирал в своей памяти картины соборов, проходов под златоверхими колокольнями, темных и тесных полуподземных приделов. И, дойдя до картин судных, усилил тон — лира его зажужжала и запела смелее, тверже. Послышались вздохи, слабые восклицания нежности и грусти. И он еще усилил — и сквозь восточную, степную ме-

ланхолию мотива ясно проступило подобие органного хорала. Он почувствовал, понял, что именно должен спеть он для своих слушательниц, и стал им, матерям и невестам, скзывать нечто самое близкое женскому сердцу, — о сироте и о мачехе, мешая органные угрозы и назидания с песней, с мягкими славянскими укорами.

— Ой, зашуміли луги ще й бистрії ріки, — вздохнул и строго сказал он, возвысив голос и заглушив лиру.

И пояснил, снова уступая место ее звенящему жужжанию:

— Померла матинка, zostалися діти...

Потом он просто и серьезно стал напоминать женскому сердцу, — сердцу и беспощадному и жалостливому, — какова она, эта сиротская доля. Отец, сказал он, тот утешится:

— Отец жону знайде, буде в парі жити...

А сиротам никто не заменит родной матери:

— Нещасні сірїтки — ті підуть служити...

Но не спасет их, сказал он, никакая служба, никакая самая старательная работа:

— Що сїрота робить — робота ні за що, а

люди говорят: сирота ледащо!

Одним тоном слов и лиры он дал трогательный образ всем чужого, всем покорного ребенка, стриженной, босой, в грязной сорочке и старенькой плахте девочки. Она долго опускала заплаканные глазки, долго надеялась терпением и непосильным трудом снискать милость мачехи, — но напрасно: даже родной отец, раб этой безжалостной, хозяйственной женщины, избегал глядеть на свою сироту, боялся хотя бы словом вступить за нее. А уж если родному отцу в тягость собственное дитя, то где же правда, где справедливость, где сострадание? Их надо искать по свету, по миру, паче же всего где-то там, куда скрылась мать, единственный нескудеющий источник нежности. И, опять со вздоха возвышая свой грудной голос, опять усиливая звенящий тон лиры, Родион продолжал:

— Ой, пішла сірїтка темнимі лугами, — вмивається сірїтка дрібнимі сльозами. Не змогла сірїтка мачусі вгодити, — ой, пішла сірїтка по світу блудити: по світу блукати, матінки шукати...

Сын народа, не отделяющего земли от

неба, он просто и кратко рассказал о страшной встрече ее «в темных лугах», в светлые пасхальные дни, с самим воскресшим господом:

— Тай зустрів її Христос, став її питати: «Куди йдеш, сирітка?» — «Матери шукати». — «Ой, не иди, сирітка, бо далеко зайдеш, вже ж своєї матінки й по вік не знайдеш: бо твоя матінка на високій горі, тіло спочиває у смутному гробі...»

С великою ніжністю, но все так же просто передал он горькую «розмову» сироты с матерью, — точнее говоря, с «янголом» (ангелом), отзывавшимся из могилы за усопшую:

— Ой, пішла сирітка на той гроб ридати, чи не обізветься в гробу рідна мати? Обізвався Янголь, як рідная мати, та й став її стихо, словесно питати:

— *Хто це гірко плаче
На мойому гробі?
— Ох, це я, матінко:
Прийми мене к собі!
— Насипано землі?
Що вже ж я не встану,*

Сліпилися очі,
Вже й на світ не гляну!
Ох, як тяжко, важко
Каміння глодати:
А ще тяжче, важче
Тебе к собі взяти!
Нема тут, сирітка,
Ні їсти, ні піти,
Тільки велів господь
В сирій землі гнити!
Пішла б ти, сирітка,
Мачусі б просила:
Може змілувалась —
Сорочку пошила...

И с непередаваемой трогательностью ответил ребенок ангелу-матери:

— Я ж їїпросила, я ж її годила. А злая мачуха сорочки не шила!

Как все истинные художники, Родион сердцем знал, когда надо сказать, когда помолчать. Сказав последние слова, он смолк, опустил незрячие очи, наслаждаясь горькими и счастливыми вздохами своих слушательниц. А насладившись, вдруг грозно и радостно возвысил голос и развернул уже иные кар-

тины — картины Христова суда, его возмездия:

— Посилає Христос-бог Янголів од себе, — сказав он торжественно, чистим и звонким голосом, — візьміть ту сірїтку до ясного неба, посадїть сірїтку у світлому раю, у господа бога, у честї і славі!

И со скрежетом и звоном лиры далеко разлил свой зазвеневший от радостного гнева плач:

*Посилає бог з пекла
По злую мачуху,
По злую мачуху
І по її духу:
Підніміть мачуху
У гору високо,
Закиньте мачуху
У пекло глибоко!*

Кончив, он опять помолчал и твердо сказал обычным голосом, без лиры:

— Слушайте ж, люде: хто сіроти має, нехай доглядає, на путь наставляє.

И, сказав, уже не нарушил молчания ни

единым добавлением. Только долго покрывал сказанное однообразным нытьем, ропотом лиры, как бы смягчая силу впечатления.

Актер спал, прислонясь к скамейке. Взошла большая теплая луна, видно было его лицо, грустное во сне. Тускло золотились под луной дальние чащи черных камышей. Широкий золотой столб погружался в зеркальную глубину между ними, и жабы, чувствуя лунный свет, начали сладострастно, изнемогая, стонать в них, похохатывать. Следуя изгибам затонов, «Олег» все поворачивал, и тянуло то теплом, то сыростью, гнилью — весною, плавнями. Только крупные лучистые звезды остались в небе, и дым из трубы поднимался прямее, выше...

А записывал я стих про сироту в Никополе, в жаркий полдень, среди многолюдного базара, среди телег и волов, запаха их помета и сена, сидя вместе с Родионом прямо на земле. Диктовал Родион ласково и снисходительно, повторяя одно и то же по нескольку раз, и порою останавливался, сдерживая легкую досаду, когда я ошибался. А чем я был виноват? Некоторые стихи он говорил то так, то смя-

кое-что улучшая по своему вкусу.

Когда мы кончили, он долго что-то додумывал, и солнце пекло его непокрытую голову, его незрячее, ничего не выражающее лицо. Потом с тонкой улыбкой намекнул насчет корчмы. Я положил в его ладонь несколько пятаков. Он быстро зажал их своими крепкими пальцами, быстро приподнялся, сунув лиру под мышку, и, поймав мою руку, радостно и осторожно поцеловал ее.

Капри. 1913

Комментарии

Впервые напечатано в газете «Русское слово», М., 1913, № 87 под названием «Псалма», вместе с рассказом «Сказка», под общим заглавием «Псалма и сказка». Заглавие «Лирник Родион» дано рассказу в сборнике «Последнее свидание».

Черновой автограф озаглавлен «Псалма про сироту» и датирован: «28 февраля/13 марта 1913 г. Анакапри». Рукопись начинается: «Я эту псалму, этот южнорусский сказ слышал в херсонских плавнях, в низовьях Днепра, в теплый и темный весенний вечер — давно, в молодости...».

Бунин записал «Псалму про сироту» во время путешествия по Днепру в 1896 г. Бунинский вариант этой широко известной «псалмы» не вошел ни в один из сборников украинского фольклора. Лирник Родион — лицо реальное: в конце записи «псалмы» Бунин указал: «Киевская губ., Васильковский у., Рокитянского стану, с. Ромашек. Родион Кучеренко. Записано на Днепре, 1896 г.».

По свидетельству Н. А. Пушешникова, Бу-

нин читал рассказ Горькому в марте 1913 года н. ст. и «довел его до слез. Во время чтения вставного четверостишия Горький заплакал, встал и стал ходить:

— Вот, черт его дери! — и как бы стыдясь: — Вот и Тургенева не могу читать — реву».

В. Н. Муромцева-Бунина приводит в дневнике (30 марта 1949 г.) слова Бунина: «Вот рассказ замечательный, — сказал неожиданно Ян, — это „Лирник Родион“».

Примечания

1

Сермяга — от мордовского «сермяг»; одежда из грубого некрашеного сукна.

[^^^]